

Ползунков — текст 2 из 2

Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы вы рассеяны ни были, пристально приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были так подвижны — или, наконец, что он сам, весь, до того поддавался магнетизму всякого взгляда, на него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он решительно походил на жируэтку. Странное дело! Он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был всесветным шутом и с покорностью подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом, смотря по тому, в какой находился компании. Добровольные шуты даже не жалки. Но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человечек вовсе не был шутом из профессии. В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, что всё его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материальных выгод. Он с удовольствием позволял засмеяться над собой во всё горло и неприличнейшим образом, в глаза, но в то же время — и я даю клятву в том — его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно-жестокосерды, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностью, над всею его плотью и кровью. Я уверен, что он чувствовал в эту минуту всю глупость своего положения; но протест тотчас же умирал в груди его, хотя непременно каждый раз зарождался великодушнейшим образом. Я уверен, что всё это происходило не иначе, как от доброго сердца, а вовсе не от материальной невыгоды быть прогнанным в толчки и не занять у кого-нибудь денег: этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погримасничав и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал, что имеет некоторым образом право занять. Но, боже мой! какой это был заем! и с каким видом он делал этот заем! Я предположить не мог, чтоб на таком маленьком пространстве, как сморщенное, угловатое лицо этого человечка, могло уместиться в одно и то же время столько разнородных гримас, столько странных разнохарактерных ощущений, столько самых убийственных впечатлений. Чего-чего тут не было! И стыд-то, и ложная наглость, и досада с внезапной краской в лице, и гнев, и робость за неудачу, и

просьба о прощении, что смел утруждать, и сознание собственного достоинства, и полнейшее сознание собственного ничтожества — всё это, как молнии, проходило по лицу его. Целых шесть лет пробивался он таким образом на божием свете и до сих пор не составил себе фигуры в интересную минуту займа! Само собою разумеется, что очерстветь и заподличаться вконец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо! Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек в свете, но с маленькою слабостию: сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется, человек-тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет почти так же, как все, не хуже, не лучше, чисто, даже с некоторою изысканностью и с поползновением на солидность и собственное достоинство. Это равенство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время непрерывное самоумаление — всё это составляло разительнейший контраст и достойно было смеху и жалости. Если б он был уверен сердцем своим (что, несмотря на опыт, поминутно случалось с ним), что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не над его обреченною личностью, то он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде, другим в угоду, а себе в наслаждение, по улицам, лишь бы рассмешить своих покровителей и доставить им всем удовольствие. Но до равенства он не мог достигнуть никогда и ничем. Еще черта: чудак был самолюбив и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не щадя себя, следовательно с риском, почти с геройством, кого-нибудь из своих покровителей, уже донельзя его разбесившего. Но это было минутами... Одним словом, он был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик.

Между гостями поднялся общий спор. Вдруг я увидел, что чудак мой вскакивает на стул и кричит что есть мочи, желая, чтоб ему одному дали исключительно слово.

— Слушайте, — шепнул мне хозяин. — Он рассказывает иногда прелюбопытные вещи... Интересует он Вас? Я кивнул головою и втеснился в толпу.

Действительно, вид порядочно одетого господина, вскочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во всё горло.

— Я знаю Федосея Николаича! Я лучше всех должен знать Федосея Николаича! — кричал чудака с своего возвышения. — Господа, позвольте рассказать. Я хорошо расскажу про Федосея Николаича! Я знаю одну историю — чудо!..

— Расскажите, Осип Михайлыч, расскажите.

— Рассказывай!!

— Слушайте же...

— Слушайте, слушайте!!!

— Начинаю; но, господа, это история особенная...

— Хорошо, хорошо!

— Это история комическая.

— Очень хорошо, превосходно, прекрасно, — к делу!

— Это эпизод из собственной жизни вашего нижайшего...

— Ну зачем же вы трудились объявлять, что она комическая!

— И даже немного трагическая!

— А???

— Словом, та история, которая вам всем доставляет счастье слушать меня теперь, господа, — та история, вследствие которой я попал в такую интересную для меня компанию.

— Без каламбуров!

— Та история...

— Словом, та история, — уж доканчивайте поскорее аполог, — та история, которая чего-нибудь стоит, — примолвил сиплым голосом один белокурый молодой господин с усами, запустив руку в карман своего сюртука и как будто нечаянно вытащив оттуда кошелек вместо платка.

— Та история, мои сударики, после которой я бы желал видеть многих из вас на моем месте. И наконец, та история, вследствие которой я не женился!

— Женился!.. жена!.. Ползунков хотел жениться!!

- Признаюсь, я бы желал теперь видеть madame Ползункову!
- Позвольте поинтересоваться, как звали прошедшую madame Ползункову, — пищал один юноша, пробираясь к рассказчику.
- Итак, первая глава, господа: то было ровно шесть лет тому, весной, тридцать первого марта, — заметьте число, господа, — накануне...
- Первого апреля! — закричал юноша в завитках.
- Вы необыкновенно угадливы-с. Был вечер. Над уездным городом N. сгущались сумерки, хотела выплыть луна... ну, и всё там как следует. Вот-с, в самые поздние сумерки, втихомолочку, и я выплыл из своей квартирнки, —простившись с моей замкнутой покойницей бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выражение, слышанное мной в последний раз у Николай Николаича. Но бабушка моя была вполне замкнутая:
она была слепа, нема, глуха, глупа, — всё что угодно!.. Признаюсь, я был в трепете, я собирался на великое дело; сердчишко во мне билось, как у котенка, когда его хватает чья-нибудь костлявая лапа за шиворот.
- Позвольте, monsieur Ползунков!
- Чего требуете?
- Рассказывайте проще; пожалуйста, не слишком старайтесь!
- Слушаю-с, — проговорил немного смутившийся Осип Михайлыч. — Я вошел в домик Федосея Николаича (благоприобретенный-с). Федосей Николаич, как известно, не то чтобы сослуживец, но целый начальник. Обо мне доложили и тотчас же ввели в кабинет. Как теперь вижу: совсем, совсем почти темная комната, а свечей не подают. Смотрю, входит Федосей Николаич. Так мы и остаемся с ним в темноте...
- Что ж бы такое произошло между вами? — спросил один офицер.
- А как вы полагаете-с? — спросил Ползунков, немедленно обращаясь, с судорожно шевельнувшимся лицом, к юноше в завитках.
- Итак, господа, тут произошло одно странное обстоятельство. То есть странного тут не было ничего, а было, что называется, дело житейское, — я просто-запросто вынул из кармана сверток бумаг, а он из своего сверток бумажек, только государственными...
- Ассигнациями?

— Ассигнациями-с, и мы поменялись.

— Бьюсь об заклад, что тут пахло взятками, — проговорил один солидно одетый и выстриженный молодой господин.

— Взятками-с! — подхватил Ползунков. — Эх!

Пусть я буду либералом,

Каких много видел я!

если вы тоже, как вам попадется служить в губернии, не погреее рук... на родном очаге... Зане, сказал один литератор:

И дым отечества нам сладок и приятен!

Мать, мать, господа, родная, родина-то наша, мы птенцы, так мы ее и сосем!..

Пусть я буду либералом,

Каких много видел я!

И дым отечества нам сладок и приятен!

Поднялся общий смех.

— А только, поверите ли, господа, я никогда не брал взяток, — сказал Ползунков, недоверчиво оглядывая всё собрание.

Гомерический, неумолкаемый смех всем залпом своим накрыл слова Ползункова.

— Право, так, господа...

Но тут он остановился, продолжая оглядывать всех с каким-то странным выражением лица. Может быть, — кто знает, — может быть, в эту минуту ему вспало на ум, что он почестнее многих из всей этой честной компании... Только серьезное выражение лица его не исчезало до самого окончания всеобщей веселости.

— Итак, — начал Ползунков, когда все поумолкли, — хотя я никогда не брал взяток, но в этот раз грешен: положил в карман взятку... с взяточника... То есть были кое-какие бумажки в руках моих, которые если б я захотел послать кой-кому, так худо бы пришлось Федосею Николаичу.

— Так, стало быть, он их выкупил?

— Выкупил-с.

— Много дал?

— Дал столько, за сколько иной в наше время продал бы совесть свою, всю, со всеми варьяциями-с... если бы только что-нибудь дали-с. Только меня варом обдало, когда я положил в карман денежки. Право, я не знаю, как это со мной всегда делается, господа, — но вот, ни жив ни мертв, губами шевелю, ноги трясутся; ну, виноват, виноват, совсем виноват, в пух засовестился, готов прощенья просить у Федосея Николаича...

— Ну, что ж он, простил?

— Да я не просил-с... я только так говорю, что так оно было тогда; у меня, то есть, сердце горячее. Вижу, смотрит мне прямо в глаза:

— Бога, говорит, вы не боитесь, Осип Михайлыч. Ну, что делать! Я этак развел из приличия руки, голову на сторону: «Чем же, я говорю, бога не боюсь, Федосей Николаич?..» Только уж так говорю, из приличия... сам сквозь землю провалиться готов.

— Быв так долго другом семейства нашего, быв, могу сказать, сыном, — и кто знает, что небо предполагало, Осип Михайлыч! И вдруг что же, донос, готовить донос, и вот теперь!.. Что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?

Да ведь как, господа, как рацею читал! «Нет, говорит, вы мне скажите, что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?» Что, думаю, думать! Знаете, и в горле заскребло, и голосенко дрожит, ну уж предчувствую свой скверный норов и схватился за шляпу...

— Куда ж вы, Осип Михайлыч? Неужели накануне такого дня... Неужели вы и теперь злопамятствуете; чем я против вас согрешил?..

— Федосей Николаич, говорю, Федосей Николаич! Ну, то есть растаял, господа, как мокрый сахар-медович, растаял. Куда! и пакет, что в кармане лежит с государственными, и тот словно тоже кричит: неблагодарный ты, разбойник, тать окаянный, — словно пять пудов в нем, так тянет... (А если б и взаправду в нем пять пудов было!..)

— Вижу, — говорит Федосей Николаич, — вижу ваше раскаяние... вы, знаете, завтра...

— Марии Египетские-с...

— Ну, не плачь, — говорит Федосей Николаич, — полно: согрешил и покался! пойдем! Может быть, удастся мне возвратить, говорит, вас опять на путь истинный... Может быть, скромные пенаты мои (именно, помню, пенаты, так и

выразился, разбойник) согреют, говорит, опять ваше очерств... не скажу очерствелое, — заблудшее сердце...

Взял он меня, господа, за руку и повел к домочадцам. Мне спину морозом прохватывает; дрожу! думаю, с какими глазами предстану я... А нужно вам знать, господа... как бы сказать, здесь выходило одно щекотливое дельце!

— Уж не госпожа ли Ползункова?

— Марья Федосеевна-с, — только не суждено, знать, ей было быть такой госпожой, какой вы ее называете, не дождалась такой чести! Оно, видите, Федосей-то Николаич был и прав, говоря, что в доме-то я почти сыном считался. Оно и было так назад тому полгода, когда еще был жив один юнкер в отставке Михайло Максимыч Двигаильов по прозвищу. Только он волею божию помре, а завещание-то совершить всё в долгий ящик откладывал; оно и вышло так, что ни в каком ящичке его не отыскивали потом...

— Ух!!!

— Ну ничего, нечего делать, господа, простите, обмолвился, — каламбурчик-то плох, да это бы еще ничего, что он плох, — штука-то была еще плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в перспективе, потому что юнкер-то в отставке — хоть меня в дом к нему и не пускали (на большую ногу жил, затем что были руки длинные!), — а тоже, может быть не ошибкой, родным сыном считал.

— Ага!!

— Да-с, оно вот как-с! Ну, и стали мне носы показывать у Федосея Николаича. Я замечал-замечал, крепился-крепился, а тут вдруг, на беду мою (а может, и к счастью!), как снег на голову ремонтёр наскочил на наш городишко. Дело-то оно его, правда, подвижное, легкое, кавалерийское, — только так плотно утвердился у Федосея Николаича, — ну, словно мортира, засел! Я обиходцем да стороночкой, по подлему норову, «так и так, говорю, Федосей Николаич, за что ж обижать! Я в некотором роде уж сын... Отеческого-то, отеческого когда я дождусь...» Начал он мне, сударик ты мой, отвечать! ну, то есть начнет говорить, поэму наговорит целую, в двенадцати песнях в стихах, только слушаешь, облизываешься да руки разводишь от сладости, а толку нет ни на грош, то есть какого толку, не разберешь, не поймешь, стоишь дурак дураком, затуманит, словно вьюн вьется, вывертывается; ну, талант, просто талант, дар такой, что вчуже страх пробирает! Я кидаться пошел во все стороны: туды да сюды! уж и романсы таскаю, и конфет привожу, и каламбуры высиживаю, охи да вздохи, болит, говорю, мое сердце, от амура болит, да в слезы, да тайное

объяснение! ведь глуп человек! ведь не проверил у дьячка, что мне тридцать лет... куды! хитрить выдумал! нет же! не пошло мое дело, смешки да насмешки кругом, — ну, и зло меня взяло, за горло совсем захватило, — я улизнул, да в дом ни ногой, думал-думал — да хватать донос! Ну, поподличал, друга выдать хотел, сознаюсь, материяльцу-то было много, и славный такой материял, капитальное дело! Тысячу пятьсот серебром принесло, когда я его вместе с доносом на государственные выменял!

— А! так вот она, взятка-то!

— Да, сударь, вот была взяточка-то-с; поплатился мне взяточник! (И ведь не грешно, ну, право же, нет!) Ну, вот-с теперь продолжать начну: притащил он меня, если запомнить изволите, в чайную ни жива ни мертва; встречаются меня: все как будто обиженные, то есть не то что обиженные, — разогорченные так, что уж просто... Ну, убиты, убиты совсем, а между тем и важность такая приличная на лицах сияет, солидность во взорах, этак что-то отеческое, родственное такое... блудный сын воротился к нам, — вот куда пошло! За чай усадили, а чего, у меня у самого словно самовар в грудь засел, кипит во мне, а ноги леденеют: умалился, струсил! Марья Фоминишна, супруга его, советница надворная (а теперь коллежская), мне ты

с первого слова начала говорить: «Что ты, батенька, так похудел», — говорит. «Да так, прихварываю, говорю, Марья Фоминишна...» Голосенко-то дрожит у меня! А она мне ни с того ни с сего, знать, выжидала свое вернуть, ехидна такая: «Что, видно, совесть, говорит, твоей душе не по мерке пришлась, Осип Михайлыч, отец родной! Хлеб-соль-то наша, говорит, родственная возопияла к тебе! Отлились, знать, тебе мои слезки кровавые!» Ей-богу, так и сказала, пошла против совести; чего! то ли за ней, бой-баба! Только так сидела да чай разливала. А поди-ка, я думаю, на рынке, моя голубушка, всех баб перекричала бы. Вот какая была она, наша советница! А тут, на беду мою, Марья Федосеевна, дочка, выходит, со всеми своими невинностями, да бледненька немножко, глазки покраснелись, будто от слез, — я как дурак и погиб тут на месте. А вышло потом, что по ремонтере она слезки роняла: тот утек восвояси, улепетнул подобру-поздорову, потому что, знаете, знать (оно пришлось теперь к слову сказать), пришло ему время уехать, срок вышел, оно не то чтобы и казенный был срок-то! а так... уж после родители дражайшие спохватились, узнали всю подноготную, да что делать, втихомолку зашили беду, — своего дому прибыло!.. Ну, нечего делать, как взглянул я на нее, пропал, просто пропал, накопился на шляпу, хотел схватить да улепетнуть поскорее; не тут-то было: утащили шляпу мою... Я уж, признаться, и без шляпы хотел — ну, думаю, — нет же, дверь на крючок насадили, смешки

дружеские начались, подмигиванья да заигрыванья, сконфузился я, что-то соврал, об амуре понес; она, моя голубушка, за клавикорды села да гусара, который на саблю опирался, пропела на обиженный тон, — смерть моя! «Ну, — говорит Федосей Николаич, — всё забыто, приди, приди... в объятия!» Я как был, так тут же и припал к нему лицом на жилетку. «Благодетель мой, отец ты мой родной!»—говорю, да как зальюсь своими горячими! Господи, бог мой, какое тут поднялось! Он плачет, баба его плачет, Машенька плачет... тут еще белобрысенькая одна была: и та плачет... куда — со всех углов ребятишки повыползли (благословил его домком господь!), и те ревут... сколько слез, то есть умиление, радость такая, блудного обрели, словно на родину солдат воротился! Тут угощение подали, фанты пошли: ох, болит! что болит? — сердце; по ком? Она краснеет, голубушка! Мы с стариком пуншику выпили, — ну, уходили, уластили меня совершенно...

Воротился я к бабушке. У самого голова кругом ходит; всю дорогу шел да подсмеивался, дома два часа битых по каморке ходил, старуху разбудил, ей всё счастье поведал. «Да денег-то дал ли, разбойник?» — «Дал, бабушка, дал, дал, родная моя, дал, привалило к нам, отворяй ворота!» — «Ну, теперь хоть женись, так в ту ж пору женись, — говорит мне старуха, — знать, молитвы мои услышаны!» Софрона разбудил. «Софрон, говорю, снимай сапоги». Софрон потащил с меня сапоги. «Ну, Софроша! Поздравь ты теперь меня, поцелуй! Женюсь, просто, братец, женюсь, напейся пьян завтра, гуляй душа, говорю: барин твой женится!» Смешки да игрушки на сердце!.. Уж засыпать было начал; нет, подняло меня опять на ноги, сижу да думаю; вдруг и мелькни у меня в голове: завтра-де первое апреля, день-то такой светлый, игривый, как бы так? — да и выдумал! Что ж, сударики! с постели встал, свечу зажег, в чем был за стол письменный сел, то есть уж расходился совсем, заигрался, — знаете, господа, когда человек разыграется! Всей головой, отцы мои, в грязь полез! То есть вот какой норов: они у тебя вот что возьмут, а ты им вот и это отдашь: дескать, нате и это возьмите! Они тебя по ланите, а ты им на радостях всю спину подставишь. Они тебя потом калачом, как собаку, манить начнут, а ты тут всем сердцем и всей душой облапишь их глупыми лапами — и ну лобызаться! Ведь вот хоть бы теперь, господа! Вы смеетесь да шепчетесь, я ведь вижу! После, как расскажу вам всю мою подноготную, меня же начнете на смех подымать, меня же начнете гонять, а я-то вам говорю, говорю, говорю! Ну, кто мне велел! Ну, кто меня гонит! Кто у меня за плечами стоит да шепчет: говори, говори да рассказывай! А ведь говорю же, рассказываю, вам в душу лезу, словно вы мне, примером, все братья родные, друзья закадышные... э-эх!..

Хохот, начинавший мало-помалу подыматься со всех сторон, покрыл наконец совершенно голос рассказчика, действительно пришедшего в какой-то восторг; он остановился, несколько минут перебегая глазами по собранию, и потом вдруг, словно увлеченный каким-то вихрем, махнул рукой, захохотал сам, как будто действительно находя смешным свое положение, и снова пустился рассказывать:

— Едва заснул я в ту ночь, господа; всю ночь строчил на бумаге; видите ли, штуку я выдумал! Эх, господа! припомнить только, так совестно станет! И добро бы уж ночью: ну, с пьяных глаз, заблудился, напутал вздору, наврал, — нет же! Утром проснулся ни свет ни заря, всего-то и спал часик-другой, и за то же! Оделся, умылся, завился, припомадился, фрак новый напялил и прямо на праздник к Федосею Николаичу, а бумагу в шляпе держу. Встречает меня сам, с отверстыми, и опять зовет на жилетку родительскую! Я и приосанился, в голове еще вчерашнее бродит! На шаг отступил. «Нет, говорю, Федосей Николаич, а вот, коль угодно, сию бумажку прочтите», — да и подаю ее при рапорте; а в рапорте-то знаете что было? А было: по таким-то да по таким-то такого-то Осипа Михайлыча уволить в отставку, да под просьбой то весь чин подмахнул! Вот ведь что выдумал, господи! и умнее-то ничего придумать не мог! Дескать, сегодня первое апреля, так я вот и сделаю вид, ради шуточки, что обида моя не прошла, что одумался за ночь, одумался да нахохлился, да пуще прежнего обиделся, да, дескать, вот же вам, родные мои благодетели, и ни вас, ни дочки вашей знать не хочу; денежки-то вчера положил в карман, обеспечен, так вот, дескать, вам рапорт об отставке. Не хочу служить под таким начальством, как Федосей Николаич! в другую службу хочу, а там, смотри, и донос подам. Этаким подлецом представился, напугать их выдумал! и выдумал чем напугать! А? хорошо, господа? То есть вот заласкалось к ним сердце со вчерашнего дня, так дай я за это шуточку семейную отпущу, подтруню над родительским сердечком Федосея Николаича...

Только взял он бумагу мою, развернул, и вижу, шевельнулась у него вся физиономия. «Что ж, Осип Михайлыч?» А я как дурак: «Первое апреля! с праздником вас, Федосей Николаич!» — то есть совсем как мальчишка, который за бабушкино кресло спрятался втихомолку, да потом уф! ей на ухо, во всё горло, — пугать вздумал! Да... да просто даже совестно рассказывать, господа! Да нет же! я не буду рассказывать!

— Да нет, что же дальше?

— Да нет, да нет, расскажите! Нет, уж рассказывайте! — поднялось со всех сторон.

— Поднялись, судари мои, толки да пересуды, охи да ахи! и проказник-то я, и забавник-то я, и перепугал-то я их, ну, такое сладчайшее, что самому стыдно стало, так что стоишь да со страхом и думаешь: как такого грешника такое место святое на себе держать может! «Ну, родной ты мой, — запищала советница, — напугал меня так, что о сю пору ноги трясутся, еле на месте держат! Выбежала я как полуумная к Маше: Машенька, говорю, что с нами будет! Смотри, каким твой-то

оказывается! Да сама согрешила, родимый, уж ты прости меня, старуху, опростоволосилась! Ну, думаю: как пошел он от нас вчера, пришел домой поздно, начал думать, да, может, показалось ему, что нарочно мы вчера ходили за ним, завлечь хотели, так и обмерла я! Полно, Машенька, полно мигать мне, Осип Михайлыч нам не чужой; я же твоя мать, дурного ничего не скажу! Слава богу, не двадцать лет на свете живу: целых сорок пять!..»

Ну, что, господа! Чуть я ей в ноги не чебурахнулся тут! Опять прослезилась, опять лобызания пошли! Шуточки начались! Федосей Николаич тоже для первого апреля штучку изволили выдумать! Говорит, дескать, жар-птица прилетела, с бриллиантовым клювом, а в клюве-то письмо принесла! Тоже надуть хотел, — смех-то пошел какой! умиление-то было какое! тьфу! даже срамно рассказывать.

Ну, что, мои милостивцы, теперь и вся недолга! Пожили мы день, другой, третий, неделю живем; я уж совсем жених! Чего! Кольца заказаны, день назначали, только оглашать не хотят до времени, ревизора ждут. Я-то жду не дождусь ревизора, счастье мое остановилось за ним! Спустить бы его скорей с плеч долой, думаю. А Федосей-то Николаич под шумок и на радостях все дела свалил на меня: счета, рапорты писать, книги сверять, итоги подводить, — смотрю: беспорядок ужаснейший, всё в запустении, везде крючки да кавыки! ну, думаю, потружусь для тестюшки! А тот всё прихварывает, болезнь приключилась, день ото дня ему, видишь, хуже. А чего, я сам, как спичка, ночей не сплю, повалиться боюсь! Однако кончил-таки дело на славу! выручил к сроку! Вдруг шлют за мной гонца. «Поскорей, говорят, худо Федосею Николаичу!» Бегу сломя голову — что такое? Смотрю, сидит мой Федосей Николаич обвязанный, уксусу к голове примочил, морщится, кряхтит, охает: ох да ох! «Родной ты мой, милый ты мой, говорит, умру, говорит, на кого-то я вас оставляю, птенцы мои!» Жена с детьми приплелась, Машенька в слезы, — ну, я и сам зарюмил! «Ну, нету же, говорит, бог будет милостив! Не взыщет же он с вас за все мои прегрешения!» Тут он их всех отпустил, приказал за ними дверь запереть, остались мы с ним вдвоем, с глазу на глаз. «Просьба есть до тебя!» — «Какая-с?» — «Так и так, братец, и на смертном одре нет покоя,

зануждался совсем!» — «Как так?» Меня тут и краска прошибла, язык отнялся. «Да так, братец, из своих пришлось в казну приплатиться; я, братец, для пользы общей ничего не жалею, жизни своей не жалею! Ты не думай чего! Грустно мне, что меня пред тобой клеветники очернили... Заблуждался ты, горе с тех пор мою голову убелило! Ревизор на носу, а у Матвеева в семи тысячах недочет, а отвечаю я... кто ж больше! С меня, братец, взыщут: чего смотрел? А что с Матвеева взять! Уж и так довольно с него; что горемыку под обух подводить!» Святители, думаю, вот праведник! вот душа! А он: «Да, говорит, дочерних брать не хочу, из того, что ей пошло на приданое; это священная сумма! Есть свои, есть, правда, да в люди отданы, где их сейчас соберешь!» Я тут как был, так и бряк перед ним на колени. «Благодетель ты мой, кричу, оскорбил я тебя, разобидел, клеветники на тебя бумаги писали, не убей вконец, возьми назад свои денежки!» Смотрит он на меня, потекли у него из глаз слезы. «Этого я и ждал от тебя, мой сын, встань; тогда простил ради дочерних слез! теперь и мое сердце прощает тебя. Ты залечил, говорит, мои язвы! благословляю тебя во веки веков!» Ну, как благословил-то он меня, господа, я во все лопатки домой, достал сумму: «Вот, батюшка, всё, только пятьдесят целковых извел!» — «Ну ничего, говорит, а теперь всякое лыко в строку; время спешное, напиши-ка рапорт, задним числом, что зануждался да вперед просишь жалованья пятьдесят рублей. Я так и покажу по начальству, что тебе вперед выдано...» Ну что ж, господа! как вы думаете? ведь я и рапорт написал!

— Ну что же, ну чем же, ну как это кончилось?

— Только что написал я рапорт, сударики вы мои, вот чем кончилось. Назавтра же, на другой же день, ранехонько поутру пакет за казенной печатью. Смотрю — и что ж обретаю? Отставка! Дескать, сдать дела, свести счета, а самому идти на все стороны!..

— Как так?

— Да уж и я тут благим матом крикнул: как так! сударики! Чего, в ушах зазвенело! Я думал спроста, ан нет, ревизор в город въехал. Дрогнуло сердце мое! Ну, думаю, неспроста! да так, как был, к Федосею Николаичу: «Что?» — говорю. «А что ж?» — говорит. «Да вот же отставка!» — «Какая отставка?» — «А это?» — «Ну что ж, и отставка-с!» — «Да как же, разве я пожелал?» — «А как же, вы подали-с, первого апреля вы подали» (а бумагу-то я не взял назад!). — «Федосей Николаич! да вас ли слышат уши мои, вас ли видят очи мои!» — «Меня-с, а что-с?» — «Господи, бог мой!» — «Жаль мне, сударь, жаль, очень жаль, что так рано службу оставить задумали! Молодому человеку нужно служить, а у вас, сударь, ветер начал бродить в голове. А насчет аттестата

будьте покойны: я позабочусь. Вы же так хорошо себя всегда аттестуете-с!» — «Да ведь я ж тогда шуточкой, Федосей Николаич, я ж не хотел, я так подал бумагу, для родительского вашего... вот!» — «Как-с вот! Какое, сударь, шуточкой! Да разве такими бумагами шутят-с? да вас за такие шуточки когда-нибудь в Сибирь упекут-с. Теперь прощайте, мне некогда-с, у нас ревизор-с, обязанности службы прежде всего; вам бить баклуши, а нам тут сидеть за делами-с. А уж я вас там как следует аттестую-с. Да еще-с, вот я дом у Матвеева сторговал, переедем на днях, так уж надеюсь, что не буду иметь удовольствия вас на новоселье у себя увидеть. Счастливый путь!» Я домой со всех ног: «Пропали мы, бабушка!» — взывала она, сердечная; а тут, смотрим, бежит казачок от Федосея Николаича, с запиской и с клеткой, а в клетке скворец сидит; это я ей от избытка чувств скворца подарил говорящего; а в записке стоит:

первое апреля,

а больше и нет ничего. Вот, господа, что, как вы думаете-с?!

— Ну, что же, что же дальше???

— Чего дальше! встретил я раз Федосея Николаича, хотел было ему в глаза подлеца сказать...

— Ну!

— Да как-то не выговорилось, господа!